

Лев
Давидович
Троцкий

ПРОБЛЕМЫ
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРА СТАРОГО
МИРА

RUGRAM

Москва
2022

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т76

Троцкий, Л.Д.

Т76 Проблемы культуры. Культура старого мира/ Л.Д. Троцкий. — М. : RUGRAM, 2022. — 406 с. — (Навстречу революции).

ISBN 978-5-521-78175-1

Книжная серия «Навстречу революции» — издательский проект, нацеленный на составление современного, всеобъемлющего и наиболее широкого ряда произведений классиков отечественной политической и революционной мысли. Сегодня, оглядываясь на мыслителей прошлого, мы понимаем, что множество книг, легших в основу нашего представления о современности и об общественном укладе, не утратили своей остроты, актуальности и значимости — напротив, сегодня мы можем по-новому взглянуть на труды, выковавшие наш век, и оценить их значимость и вневременность.

Многие труды, выходящие в рамках издательского проекта, долгие годы были недоступны на книжном рынке; выросли поколения, не знающие имена и труды классиков. Задача серии «Навстречу революции» — дать возможность современному читателю ознакомиться и осмыслить классиков революционной мысли, а также понять их значимость для дня сегодняшнего.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78175-1

© RUGRAM, оформление 2022
© Т8 Издательские технологии, 2022

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том составлен из двух серий статей о литературе, отделенных друг от друга промежутком в шесть лет. Первая серия заключает в себе статьи, печатавшиеся в «Восточном Обозрении» за 1900 – 1902 г.г., вторая серия – статьи, написанные с 1908 по 1914 год.

Материал, относящийся к первому периоду, разбит – с незначительными нарушениями хронологического порядка – на три отдела. Первый отдел «От дворянина к разночинцу» посвящен характеристике некоторых основных тенденций русской общественности и литературы с начала XIX в. до 80-х годов. Второй отдел «Будни» является литературным отражением затишья 90-х годов. Отдел «Перед первой революцией» заключает в себе характеристику литературных явлений того периода, когда в поэзии появились декаденты, а в публицистике легальные марксисты.

Вторая половина тома (период 1908 – 1914 г.г.) заключает в себе отдел «О Л. Толстом», куда вошли две статьи о творчестве Л. Толстого и некролог о нем, и отделы «Между первой революцией и войной» и «Запад и мы». Статьи, вошедшие в последние два отдела, были напечатаны в сборнике «Литература и революция» за исключением четырех статей: «Нечто об анкетах», «Соблазнительные параллели», «Россия и Европа» и «Масарик о русском марксизме», взятых нами из других источников.

Статья «Франк Ведекинд» первоначально была напечатана в сборнике «Литературный распад», затем с незначительными дополнениями была помещена в «Neue Zeit», статьи же о Толстом были напечатаны в «Neue Zeit» в 1908 году и даны здесь в переводе с немецкого языка.

В работе над томом большую помощь оказал И. Б. Румер, которому редакция выражает свою благодарность.

I. От дворянина к разночинцу

Л. Троцкий.

В. А. ЖУКОВСКИЙ (1783 – 1852)

Пятьдесят лет тому назад, 12 апреля 1852 г., в Баден-Бадене умер Василий Андреевич Жуковский, – по собственному определению – «родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских».

Предание говорит, что помещик Бунин сказал, прощаясь со своими крепостными, отправлявшимися в румянцевский поход против турок: «Привезите мне хорошенькую турчанку; жена моя совсем состарилась». Это было сказано «в шутку», но принято «всерьез»... а 29 января 1783 года от этой «шутки» уже появился на свет божий В. А. Жуковский. Доброе старое время!

Жуковский приспособил к русскому климату немецких и английских чертей – и тем насадил в России романтизм. В чем смысл этой заслуги? Что такое романтизм?

Истерзанное слово! Оно напоминает старый мешок, который в процессе литературно-исторической эволюции наполнялся все новым и новым содержанием и лопнул в конце концов от переполнения.

Вспомните. Романтизм был тимпанами и кимвалами, славившими человеческое я, освобожденное Великой Революцией из кандалов «старого порядка» – и романтизм был литературным убежищем идейной реакции, знаменем попятного призыва к готическим соборам, рыцарским турнирам, крепостному праву и властному папизму.

Романтизм был рупором для «демонических натур», через который они бросали проклятиями в эту несчастную, глупую и пошлую землю и посылали вызов небесам, – и он же, романтизм, изнывал в слезливой, беспредметной тоске, расплывался в гимнах фантастическому «голубому цветку» и гордился маразмом мысли и воли.

Романтизм! Он состоял в услужении у Меттерниха¹, облаченный в австрийские ливреи немецких романтиков², и он же был непримиримым политическим изгнанником вместе с Виктором Гюго³.

Чем только не был он, романтизм?

Свободолюбивый и холопский, боевой и квиетический, передовой и реакционный, свободомыслящий и ортодоксальный, титанически-сильный и детски-слезливый, романтизм сохранял во всех своих превращениях только одну общую черту: он жил или хотел жить жизнью чувства, а не рассудка, он стремился освободить темные, неопределенные и бессознательные силы психики из горячей рубашки, которую мысль торопится набросить на стихийные порывы души. Его путеводителем были не законы резонирующего разума, но блуждающие огни разнузданной мистики чувства. «Иссушающему» рационализму он противопоставил сорвавшуюся с петель фантазию. Может быть, наиболее ярко эта черта романтизма выражена у немецкого поэта Гельдерлина⁴: «О, человек – бог, когда он грезит, и нищий, когда он мыслит».

Романтизм как стихия «грез» был, разумеется, субъективен насквозь, до

сердцевины. В конце концов он уставал от разнузданности собственного субъективизма, пресыщался его дикими причудами и, в качестве блудного сына, искал успокоения на груди католицизма. Забегая вперед, заметим, что Жуковский был застрахован от слишком бурной качки духа, так как никогда не выходил из-под власти догмата.

Но что собственно представлял собою романтизм Жуковского?

«Это – желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон; жалоба на несовершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, которое, бог знает, в чем состояло; это – мир, чуждый всякой действительности, населенный теньями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не менее неуловимыми; это – уныло, медленно текущее, никогда не оплачивающееся настоящее, которое оплакивает прошедшее и не видит перед собой будущего; наконец, это – любовь, которая питается грустью и которая без грусти не имела бы чем поддержать свое существование».

Об этой поэзии можно сказать стихами Гете:

Es sauget jedes zartliche Gemuthe

Aus seinem Werk sich melanchol'she Nahrung"⁵

Свойствами духовной натуры Жуковского и условиями общественной среды объясняется исключительное предпочтение, которое поэт отдавал немецкому романтизму: последний отличается от французского полным преобладанием психологического содержания над общественным. Вместе с немецкими романиками Жуковский подслушивает «дольней лозы прозябанье», созерцает странствование душ, освободившихся от телесной скорлупы, сплетает хороводы из прозрачных русалок и скелетов в черных плащах, – суровая же действительность совершенно не входит в его художническое поле зрения. Искусство тут служит совершенно не улучшения жизни, но малодушного бегства из нее...

Подобно немецким романтикам, Жуковский поэтизировал пиетистскую идею предопределения, естественно освобождающую человека от необходимости критически мыслить и деятельно бороться и оправдывающую общественное безразличие и мечтательную апатию.

Созерцательный романтизм, развивая свое внутреннее содержание, естественно дошел до той пропасти духа, которая именуется индийской нирваной⁶, дошел – и не испугался ее... Верный немецким учителям, Жуковский тоже отдал дань романтического уважения Индии в своем переводе отрывка из Магабхараты⁷ («Наль и Дамаянти»).

В европейском романтизме были боевые освободительные ноты, ведущие свое начало от принципов 1793 года. Этих нот мы и со свечой не сыщем в поэзии Жуковского. Трудно сказать, кто тут более виновен: пиетистски бесстрастная натура поэта, искавшая мира и только мира, или общественные условия, которые немецкого Sturm-поэта Клингера⁸ сделали у нас генералом и начальником воспитательного корпуса, наложившим строжайшую цензуру на свои собственные сочинения для кадетов.

Но если Жуковский не усвоил своей поэзии протестующего духа некоторых западно-европейских романтиков, зато он оказался вполне солидарным с немецкими носителями «гемюта»⁹ в прозаической области отношений к высшим сферам. Но к чести Жуковского нужно сказать, что он не лицемерил, – этого не скажешь столь категорически относительно его немецких единомышленников.

Нельзя сомневаться в искренности чувства, которое руководило поэтом, когда он писал, напр., «Певца во стане русских воинов» – произведение, более благонамеренное, чем поэтическое. Как художественны в самом деле эти русские солдаты в классических костюмах, в шлемах, латах, со щитами в руках! Такова уж, видно, судьба той «поэзии», которая комментирует иллюминации, рапорты и реляции...

Всю свою жизнь Жуковский прожил в оранжерейной атмосфере. Что делается вне ее, на вольном воздухе, он не знал, ибо в ее рамках, как в окнах готических соборов, были непрозрачные цветные стекла, создававшие внутри оранжереи вечный меланхолический полумрак.

Там, за стеклянными стенами, издыхающее крепостное право, как потухающая лампа, вспыхивает особенно яркими огнями зверства и насилия. Там – стон, там – скрежет зубовный.

А здесь, в декоративно-причудливой обстановке романтической теплицы, – томление по «былому», которого не было, стремление к «будущему», которого не будет, тоска по неземному и полувздохи под аккомпанемент Эоловой арфы...

И во всю жизнь, во всю долгую жизнь Жуковского, кошмары крепостного права не тревожили его поэтического полусна. И тем удивительнее в Жуковском этот романтический квиетизм, эта неподвижность общественного мышления, что впечатления собственного детства должны были принудительно навязать сознанию поэта критическую работу: мать Жуковского, пленная турчанка, жила в доме Бунина рабыней и не смела садиться при «господах», к которым принадлежал и ее собственный сын... Ласкать его она могла лишь тайно, урывками... Кажется, достаточно выразительная иллюстрация нравов?

Крепка, значит, была броня гражданского равнодушия, которую судьба облачила «чувствительную» душу балладника!

Биограф Жуковского, говоря о его литературной деятельности, употребляет – очевидно ненароком, по шаблону – слово «подвижничество». Вот уж действительно трудно подыскать другое определение, которое бы менее подходило к литературной физиономии Жуковского!

Сам поэт, вероятно, отмахнулся бы от такого определения. По крайней мере, рассказывая о своем представлении императрице, он с похвальной искренностью прибавляет: «Я не трусил; желудок мой был в исправности, следовательно, и душа в порядке»... Это признание насчет прямой зависимости романтической души от прозаического желудка не нужно считать лишь «цинической» шуткой: несомненно, душа, столь старательно отгородившая себя от общественных внушений и черпающая свои настроения единственно «из себя», рискует утратить свою «независимость» и попасть в кабалу к желудку.

Мы, разумеется, совсем не подвергаем сомнению личной доброты и жалостливости поэта; известно, что возвратившись в 1822 году из-за границы, Жуковский отпускает на волю крепостных, приобретенных для него книгопродавцем Поповым, и в одном письме выражает удовольствие по поводу того, что его «эсклавы»¹⁰ получили волю. Остается, однако, несомненным тот факт, что никаких общественных выводов по поводу «эсклавов» Жуковский не сделал – потому ли, что не умел, или не хотел...

В «Записках кн. Трубецкого»¹¹ сохранился интересный факт, превосходно характеризующий гражданское настроение Жуковского. «Законоположе-

ние» (устав) тайного «Союза Благоденствия»¹², преследовавшего цели «общего блага», было показано поэту, разумеется, с предложением вступить в сообщество. Возвращая «Законоположение», Жуковский сказал, что «устав заключает в себе мысль такую благотворительную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели, и что он счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но что, к несчастью, он не чувствует в себе достаточной к тому силы»¹³.

Как он здесь похож на себя, наш мечтательный романтик, со своим платоническим уважением к добродетели и со своей социальной пассивностью. Противопоставьте этому романтическому индифферентизму голос истинного гражданского мужества... "я не счел себя вправе следовать примеру моего друга поэта (В. А. Жуковского), – говорит Н. И. Тургенев¹⁴, – я думал, что всякий честный человек должен отложить в сторону неважные соображения относительно формы, не обращать внимания на личные неудобства и даже опасности, если он может по мере сил содействовать делу нравственному и полезному"¹⁵.

А вот как отзывался о Жуковском другой гражданин, Рылеев¹⁶. «К несчастью, – говорит он в письме к Пушкину, – влияние его на дух нашей словесности было слишком пагубно; мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, развелили многих и много зла наделали!».

Все, что сказано выше, почти не затрагивает чисто литературных заслуг поэта, которые очень велики. Не должно забывать, что Жуковский раз навсегда освободил русскую «словесность» из дисциплинарного батальона ложноклассицизма и внес много нового содержания в обиход литературы. На Западе романтизм XIX ст. был поэтическим переживанием исторического опыта средних веков. Но мы, русские, проходили свою историю, так сказать, по сокращенному учебнику. Мы не знали ни рыцарства, ни крестовых походов, ни готических соборов. Усвоив нашей литературе романтическое направление, Жуковский обогатил наше сознание теми идейными элементами, которые были завешаны Западной Европе эпохой феодализма и католицизма. Таким образом, Жуковский не просто переводил Шиллера¹⁷, Гете¹⁸, Грея¹⁹ и Вальтер-Скотта²⁰, – нет, он сделал нечто большее: он «перевел» на русский язык европейский романтизм. Нужно быть ему за это благодарным.

Брандес²¹ безусловно прав, когда говорит, что романтика была и осталась, по преимуществу, поэзией салонов, и идеалом ее было остроумное общество, собравшееся на эстетический «чай», – но в атмосфере этого салона она была живым делом, шла от души к душе, выражала и будила интимные чувства... «Жуковский первый на Руси, – говорит Белинский, – выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь». До него наша поэзия представляла риторические иллюстрации к ложно-классическим схемам. Жуковский впервые связал поэзию с жизнью индивидуальной души. Пушкин и, особенно, Гоголь повели это дело дальше: они связали литературу с жизнью души коллективной, т.-е. общества.

Жуковский не дал своего имени никакому литературному периоду, он стоит посередине между эпохами Карамзина²² и Пушкина: закончив работу одного, он подготовил почву для другого. Белинский говорит, что без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Это страшно много, и нужно уметь быть за это благодарным.

«Восточное Обозрение» N 89, 19 апреля 1902 г.

Теперь, через пятьдесят лет после смерти Гоголя, который из опального писателя успел давно уж превратиться в признанную и одобренную «славу русской литературы» и получить официальное, утвержденное кем следует, посвящение в «отцы реальной школы», – теперь писать о Гоголе в беглом фельетоне значит делать автора «Мертвых душ» безответной жертвой нескольких общих мест и банально-панегирических фраз. О Гоголе в настоящее время нужно писать книги или ничего не писать. В представлении каждого среднего русского читателя к имени Гоголя присосался некоторый цикл понятий и суждений: «великий писатель», «родоначальник реализма», «несравненный юморист», «смех сквозь слезы»... – так что стоит назвать имя Гоголя, чтобы оно явилось в сознании, окруженное немногочисленной, но верной свитой этих определений. Поэтому газетная юбилейная статья скажет читателю, пожалуй, не более чем голое имя писателя, которому она посвящена.

К чему же и писать ее? – спросит читатель.

На это можно дать несколько ответов. Во-первых, как не помянуть, хотя бы и банальными речами, великого писателя – сегодня, когда его произведения становятся свободным достоянием общества? Во-вторых... точно ли читатель сохранил в памяти те три-четыре ярлыка, при помощи которых школа ознакомила его с Гоголем? И, в-третьих, если в сутолоке жизни читатель и не растерял этих сакраментальных эпитетов, то помнит ли он, что они означают? Будят ли они какое-нибудь эхо в его душе?.. Не опустошила и не обездушила ли их вконец наша школа?.. И если так, то не попытаться ли хоть сколько-нибудь оживить их?

Конечно, со стороны читателя лучшей данью памяти Гоголя было бы перечитать ради печально-торжественного дня его сочинения. Но я прекрасно понимаю, что огромное большинство «публики» этого не сделает. Слава богу, мы с читателем выжили из того возраста, когда «знакомятся» с Гоголем. Мы помним, что некий майор, кажется, по фамилии Ковалев, временно лишился носа; что у Ноздрева один бакенбард был непомерно жидок; что Днепр чуден при тихой погоде, что у алжирского бея под самым носом шишка; что Подколесин выскочил через окошко, вместо того чтобы идти под венец; что у Петрушки был свой собственный запах²³...

Знаем ли мы еще что-нибудь? Увы!..

Мы, разумеется, всегда спешим с лучшей стороны отрекомендовать «этого великого писателя» нашему юному брату, племяннику или сыну, но сами мы предпочитаем наслаждаться «славой русской литературы» совершенно платонически...

Дики мы, читатель, и нет у нас настоящей, глубокой, кровной, «культурной» любви к нашим классикам...

Гоголь родился 19 марта 1809 г. Умер 21 февраля 1852 г. Прожил он, таким образом, менее 43 лет, – гораздо менее, чем это нужно было для интересов литературы. Но и в недолгий срок своей страдальческой жизни он сделал бесконечно много.

До Гоголя русская литература стремилась существовать. С Гоголя она существует. Он дал ей существование, навсегда связав ее с жизнью. В этом смысле он был отцом реальной, или натуральной школы, восприимчиком которой был Белинский²⁴.

До них – «жизнь и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия

сама по себе: связь между писателем и человеком была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов, часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле своих произведений, не о том, чтобы „провести живую идею“ в художественном создании». «Этим недостатком – отсутствием связи между жизненными убеждениями автора и его произведениями – страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского преобразовало ее»²⁵.

По вполне понятным причинам сатирическое направление (в широком смысле) всегда было самым живым, самым честным и искренним в русской литературе. Не в стихотворных рассуждениях Ломоносова²⁶ о пользе стекла, не в высоком парении державинских²⁷ од, не в умилительной нежности карамзинских повестей, – но в сатире Кантемира²⁸, но в комедиях Фонвизина²⁹, но в баснях и сатирах Крылова, но в великой комедии Грибоедова³⁰ можно видеть живую общественную мысль, воплощенную в более или менее художественной форме. У Гоголя это направление достигло высшей широты и глубины, в великой поэме «бедности и несовершенства нашей жизни»...

Став жизненной, литература стала национальной.

До Гоголя мы имели российских Феокритов³¹ и Аристофанов³², отечественных Корнелей³³ и Расинов³⁴, северных Гете и Шекспиров³⁵, – национальных писателей мы почти не имели. Даже Пушкин не был свободен от подражательности и был награжден титулом «русского Байрона»³⁶.

Но Гоголь был просто Гоголь. И после него наши писатели перестают быть дубликатами европейских гениев. Мы имеем «просто» Григоровича, «просто» Тургенева, «просто» Гончарова, Салтыкова, Толстого, Достоевского, Островского... Все они ведут свою родословную от Гоголя, родоначальника русской повести и русской комедии. Пройдя через долгие годы ученичества, почти ремесленной выучки, наша «словесность» предъявила свой Meisterstück (шедевр), произведения Гоголя, и вошла в семью европейских литератур как полноправный член.

Народность литературы, положив конец школьнической подражательности, покончила одновременно и с тем детским народничаньем предшествовавшей эпохи, которое так явно отзывалось маскарадностью: вполне сохранив свой подражательный характер, оно прикрывалось русскими зипунами, армяками и рукавицами.

С Гоголя господином положения делается повесть, этот «эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих». «Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладил даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя»³⁷. До этого мы могли «делать» оды, трагедии, фантазии, идиллии – все, что угодно. Нас не смущало, что жизнь не давала материала ни для трагедии, ни для оды. По отношению к жизни «словесность» пользовалась полной автономией. Она творила из себя, под указку школьной пиитики. Гоголь, в области художественной прозы, и Белинский, в сфере критики, уничтожили следы этой убийственной автономии.

Отныне действительность начинает жить второй жизнью – в реалистической повести и комедии, особенно в первой. Повесть, «наш дневной насущный хлеб, наша настоящая книга, которую мы читаем, смыкая глаза ночью, читаем, открывая их поутру»³⁸.